Александр Твардовский

Александр Крон

SHOUT
SHARE
IT

- Крон Александр

Крон Александр
Александр Твардовский

Александр Александрович Крон
Александр Твардовский
Воспоминания о сверстниках

К фронтовому разведчику Эммануилу Казакевичу литературная слава пришла уже после войны, к Ольге Берггольц несколько раньше - в годы блокады. Принадлежа по возрасту к нашему поколению, Александр Твардовский казался старше, до войны он был широко известен, А.А.Фадеев говорил о нем, как о надежде советской русской поэзии. Однако в мою жизнь поэзия Твардовского вошла поздно - в военные годы. В перечне писателей, награжденных в 1939 году орденом Ленина, имя Твардовского мне мало что говорило, и "Страну Муравию" я прочитал позже "Теркина".

О том, что значил Василий Теркин в жизни воюющего народа, написано много, и мне не хочется повторять общеизвестные истины. Скажу только, что, работая в военной газете, я особенно ясно ощущал потребность читателей именно в таком литературном герое - друге и собеседнике, мудреце и забавнике, выразителе мыслей и чувств солдатской массы. В редкой солдатской или матросской газете у Теркина не было близких родственников, а то и однофамильцев. Не помню точно, когда в осажденный Ленинград пришли первые главы "Теркина", помню только силу впечатления. То, что Теркин Твардовского на несколько голов выше своих собратьев, было очевидно и тогда, но еще не все понимали, что это не просто удача, а литературное событие, что в сутолоке походной жизни родился типический герой. В нашей "оперативной группе писателей" при Политуправлении Балтийского флота это поняли сразу. Вспоминаю свой разговор с писателями-балтийцами А.И.Зониным и А.К.Тарасенковым. "Как вы думаете, ребята, - сказал Тарасенков, - это останется? (сам он в этом не сомневался". "Похоже, что да, - сказал я. Теркин - это не прием, а самобытный характер. Что-то в нем есть от Тиля Уленшпигеля". "Для Тиля он, пожалуй, слишком целомудрен, - сказал Зонин. - А в общем, я с вами согласен".

После войны я перечитал все, написанное Твардовским, и постепенно он стал одним из самых близких и душевно необходимых мне поэтов. Но к личному знакомству не стремился. Несмотря на то, что друживший с Твардовским Казакевич

отзывался о нем, как о человеке редкого ума и при некоторой капризности характера очень благородном, меня не покидала некоторая скованность и даже нечто вроде предубеждения. В замкнутости моего сверстника Твардовского, столь резко контрастировавшей с открытой приветливой манерой Фадеева, было что-то настораживающее.

Наше формальное знакомство состоялось года через два после войны. Мы оба занимались изучением классиков марксизма "по индивидуальному плану" и на кружки не ходили. Но однажды нас "индивидуалов" все-таки собрали вместе, чтоб обсудить последние решения о колхозном строительстве. Один из выступавших долго распространялся о проводившемся в то время вручении правлениям колхозов актов о навечном закреплении земель; по его мнению, это мероприятие разом решало все проблемы. Твардовский слушал молча и вдруг взорвался: "Акты - вещь хорошая, только на кой леший какой-нибудь тетке Дарье эти ваши грамоты? За образами что ли хранить? Болтаем по старинке о мужицкой тяге к своей землице, о собственнических инстинктах, а того не замечаем, что мужик вообще отвыкает от земли и тетка Дарья давно уже мечтает не о землице, а о твердой зарплате, как у городской работницы, чтоб было на что жить и растить детей". По тем временам это было очень смело, но говорил Александр Трифонович так страстно, убежденно и с таким очевидным знанием дела, что никто не решился с ним спорить. По окончании беседы мы вышли вместе, и Твардовский, все еще взвинченный, рассказывал мне какой-то, сегодня уже забывшийся, трагикомический случай из жизни родного ему смоленского села. С этого дня, встречаясь, мы стали здороваться, но настоящее знакомство произошло позже, в 1950 году, когда я пришел в редакцию "Нового мира" с рукописью своей пьесы "Кандидат партии". Когда пьеса была прочитана большинством тогдашней редколлегии, Александр Трифонович пригласил меня в свой кабинет, сказал несколько добрых слов о пьесе, затем вызвал С.Г.Караганову и объявил: "Вот ваш редактор. Если Софья Григорьевна посоветует вам что-нибудь толковое и вы с этим согласитесь - сделайте. Если нет - можете не слушаться". Работа с редактором проходила в дружественной атмосфере, и вообще заходить в редакцию на улице Чехова было приятно. Александр Трифонович сумел создать в журнале на редкость творческую и дружелюбную обстановку, в редакцию приходили как в клуб, поговорить, поспорить, выпить чашечку кофе. Остается только пожать плечами, когда кто-то утверждает, что Твардовский был недоступен для писателей и сотрудников редакции. Александр Трифонович бывал в редакции часто, и зайти к нему в кабинет

было проще, чем к кому-нибудь из известных мне сегодня главных редакторов. Знаю случаи, когда Твардовский сам звонил или даже приезжал к автору взволновавшей его рукописи. Его переписка с начинающими авторами теперь она издана, поражает своей обстоятельностью и уважительным вниманием к незнакомым и неизвестным людям.

Как-то зимой Твардовский с Казакевичем зашли ко мне на дачу, и мы часа два проговорили о литературе. Зашел разговор с Бунине. Александр Трифонович в то время знал Бунина гораздо лучше меня и попрекнул за то, что я не читал "Жизнь Арсеньева". Затем сказал: "Я высоко ценю Бунина, но Чехова ставлю выше. На мой вкус, Бунин пишет слишком нарядно, все время ощущаешь, как это хорошо сделано. А вот у Чехова все так просто, что даже непонятно, какими путями он проникает в наши сердца. Писать как Чехов - это еще более высокое искусство".

Узнав, что я работаю над романом, нахмурился: "Чур, не пронесите мимо нашей хаты. Договор хотите?"

От договора я тогда отказался, боялся связывать себя сроками. Но позже, когда работа затянулась и пришлось задуматься о хлебе насущном, я напомнил Твардовскому об его предложении. Он сразу же распорядился подписать со мной договор на роман, не требуя от меня никаких "заявок", а в 1959 году, узнав, что я с кораблями Тихоокеанского флота отправляюсь в Индонезию, заказал мне большой очерк, и, прервав на несколько месяцев работу над романом, я написал около шести листов путевого дневника. Дневник был опубликован в двух номерах журнала за 1980 год под названием "На ходу и на якоре".

Я часто вспоминаю одну мысль Твардовского, высказанную на ходу, в машине. Мы жили тогда в одном подъезде, и Александр Трифонович несколько раз подвозил меня домой. "Есть много способов судить о качестве произведения, сказал он. - У меня есть свой. Хотите, открою? Попробуйте представить себе, хотите ли вы быть вместе с героями книги в решающие моменты их жизни или нет. Я много раз проверял на себе: бывает, что мне хочется быть вместе с ними даже в камере смертников, и это значит - книга хорошая. А бывает, что не хочется оказаться вместе даже в ресторане или на курорте - и тогда это книга плохая. Вот попробуйте..."

Я нередко пользуюсь этим методом, и обычно он меня не обманывает.

Как-то мне позвонили из редакции и передали личную просьбу Твардовского: написать в срочном порядке статью-отклик на состоявшееся в Москве Совещание коммунистических и

рабочих партий. Таких откликов было запланировано всего три или четыре. Выполнив задание, я стал ощущать себя настоящим "новомирцем".

Но продолжалось это недолго. В 1963 году я закончил роман и привез увесистую рукопись в редакцию. В отделе прозы роман был встречен хорошо единственное, что беспокоило товарищей, - размер. Передавали слова Твардовского, сказанные по другому поводу: "Я не представляю себе такой глубочайшей идеи, которую в наше время нельзя было уложить в 12 - 15 листов". Предполагалось, что на редколлегии возникнет разговор о сокращениях.

Накануне заседания редколлегии мне позвонил один дружественно настроенный работник журнала и предупредил, чтоб я готовился к худшему. Двум членам коллегии, которые были против напечатания романа, удалось убедить Твардовского, что "Дом и корабль" не самостоятельное произведение, а переработка уже опубликованной пьесы "Офицер флота". Известно было, что Твардовский не любит переделок и неоднократно заявлял: журнал должен печатать только новинки. Поверив своим коллегам, Твардовский отказался читать рукопись, и заседание проходило без него. Я был подготовлен и потому спокоен. Рукопись я забрал и через год опубликовал в "Звезде".

После этого я долго не заходил в редакцию и больше не встречал Александра Трифоновича. Никакого конфликта не произошло, но я уже не чувствовал себя в редакции "своим". Однако "Новый мир" по-прежнему оставался "моим" журналом и мое отношение к Твардовскому ни в чем не переменилось. Смерть Твардовского была для меня тяжелым ударом. Вероятно, еще не все полностью осознают, какую потерю понесла наша литература.

Прошли годы. На доме, где я живу, теперь висит мемориальная доска с барельефным изображением Твардовского. Мне оно кажется не вполне удачным, но это мое личное мнение. Я помню его другим, и такой, каким я его помню, он всегда со мной. Его стихи - среди немногих, к которым я постоянно возвращаюсь. При этом вспоминаю некоторые вскользь брошенные Александром Трифоновичем замечания. О простоте. Вот уж, действительно, кто никогда не писал "нарядно". К простоте приходили в конце концов все большие поэты Маяковский, Есенин, Ахматова, Пастернак, каждый своим сложным путем.

Нельзя не впасть к концу как в ересь
В неслыханную простоту,

так писал Пастернак, и хотя путь Твардовского на

поверхностный взгляд был менее сложным и извилистым, его простота была не менее неслыханной, то есть своей, неповторимой, не слышанной раньше у других.

По дороге на Берлин
Вьется серый пух перин,
Провода умолкших линий,
Ветки вымокшие лип.
Пух перин повил как иней,
По бортам машин налип.
И колеса пушек, кухонь
Грязь и снег мешают с пухом.
И ложится на шинель
С пухом мокрая метель...

Все это некогда я видел своими глазами. Но десять строк Твардовского оказались в чем-то сильнее моих воспоминаний очевидца; вернее сказать, я не умею возвращаться к ним иначе как через призму этих строк. Может быть, и даже наверное, в тот день, когда я шел той же дорогой, не было снега, но теперь мне уже кажется, что был. А помимо всего прочего, какая ненавязчивая, лишенная всякого щегольства, но виртуозная оркестровка стиха, как звучат все эти "р" и "л"...

Столь же часто я вспоминаю замечание Твардовского о том, что наше время требует от художника большой плотности письма. Не телеграфного стиля, а емкости формы. Сегодняшний читатель стал быстрее соображать, и мысль ему не надо разжевывать, он ловит ее на лету. В меру своих сил я стараюсь следовать его заветам. Кстати сказать, Твардовский не сразу пришел к экономной и емкой форме, в некоторых стихотворениях довоенной поры несомненно есть лишние строфы. Он это знал, но в том-то и ценность творческих советов Твардовского, что он никогда не изрекал готовых истин, а делился опытом, тем, что было пережито самим и добыто в неустанном поиске.

Я и сегодня, обогнав годами Твардовского, воспринимаю его как старшего. Не по литературной иерархии, а по духовному опыту. У каждого пишущего есть, или по крайней мере был, старший писатель, неважно - руководил он его первыми шагами или просто был в чем-то образцом и ориентиром. Для Всеволода Иванова таким старшим писателем был Горький. Для меня - Всеволод Иванов и мой сверстник Твардовский. И когда я заканчиваю работу над рукописью, меня по-прежнему занимает вопрос: как отнесся бы к ней Александр Трифонович?

1978